

И. С.
АКСАКОВ

Сочинения



Иван Сергеевич Аксаков

Из писем

«Вышло, как и всегда у нас бывает, совершенно неожиданно хорошо и как-то само собою, вопреки нелепости людской, тысяче промахов и нашему скептицизму. Как хотите, а воздвижение памятника Пушкину среди Москвы при таком не только общественном, но официальном торжестве – это победа духа над плотью, силы и ума и таланта над великою, грубою силою, общественного мнения над правительственной оценкою, до сих пор удостоивавшею только военные заслуги своей признательности...»

Содержание

И. С. Аксаков – М. М. Достоевскому	0005
И. С. Аксаков – А. Н. Плещееву, без даты:	0006
И. С. Аксаков – А. Ф. Благонравову	0007
И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру	0009
И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру	0013
И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру	0016

Иван Сергеевич Аксаков

Из писем

И. С. Аксаков – М. М. Достоевскому

<Москва. 20 марта 1864 г.>
...Вот вам две статьи Сергея Колошина[1]. Пригодятся они вам – напечатайте их и пошлите деньги, сколько там придется, по расчету, прямо к нему в Рим, *poste restante*. Не пригодятся – возвратите их мне для передачи М. П. Погодину. Колошин предлагает вам быть вашим корреспондентом из Рима и вообще из-за границы. Он очень болен и очень нуждается <...>

Передайте от меня поклон Федору Михайловичу[2].

Автограф. ЛБ, ф.93.III.14.58.

**И. С. Аксаков –
А. Н. Плещееву, без даты:**

«**Л**юбезнейший Алексей Николаевич!
Я изъездил всю Старую Басманную, отыскивая Достоевского, но нигде дома Бело-негркина или Безнегркина не нашел. Не можете ли вы мне описать точнее местность, где стоит сей дом? Или, может быть, я перепутал адрес? Или ошибся сам Достоевский? До свидания, надеюсь.

Ваш Ив. Аксаков. Четверг ночью» (Авт. ЛБ, ф. 93.П.1.24).

И. С. Аксаков – А. Ф. Благонравову

[3]

Москва. 20 октября 1879 г.

Я ужасно виноват пред вами, многоуважаемый Александр Федорович, что до сих пор не отвечал вам на ваше письмо[4]. Прочитав его, я решил в уме, что необходимо *выждать* окончательного результата оценки, о чем и хотел вам писать. Но тут случились разные обстоятельства, совершенно отвлекшие мое внимание. *Выждать* – я и теперь стою на этом. Еще неизвестно, какой отзыв дадут Гончаров и Достоевский. Если даже ваша сказка не получит премии, то все же будет иметь значение всякий похвальный отзыв о ней таких авторитетных писателей. Попросите секретаря, г. Рогова, чтоб непременно сообщил их отзыв, каков бы он ни был <...> Я очень охотно представляю ваш рассказ в Общество распространения полезных книг. Комитет же грамотности находится в Петербурге. Если вы не получите Фребелевской премии[5], то

прежде всего нужно напечатать и затем экземпляр представить в Комитет...

Автограф. ЦГЛМ.ОФ.3985.

И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру

Троекурово. 14 июля 1880 г.

...И я очень жалею, что вас не было в Москве на пушкинских празднествах[6].

Вышло, как и всегда у нас бывает, совершенно неожиданно хорошо и как-то само собою, вопреки нелепости людской, тысяче промахов и нашему скептицизму. Как хотите, а воздвижение памятника Пушкину среди Москвы при таком не только общественном, но официальном торжестве – это победа духа над плотью, силы и ума и таланта над величиною, грубою силою, общественного мнения над правительственной оценкою, до сих пор удостоивавшею только военные заслуги своей признательности. Это великий факт в истории нашего самосознания. Приятно мне знать, что вы разделяете мое мнение насчет речи Достоевского. Но, без сомнения, еще важнее содержания его речи – впечатление, им произведенное. То есть, я хочу сказать, что Достоевский мог бы изложить те же мысли в каком-нибудь романе или в своем «Дневнике», и мысли эти, конечно, были бы замечены

Ж достаточно оценены нами, но это обстоятельство не имело бы того значения, какое приобрели те же его слова, сказанные [всенародно] с трибуны, в присутствии нескольких тысяч человек, прямо в упор массе молодых людей и всему сонму петербургских литераторов, вслед за всякого рода речами, изобиловавшими *captatione benevolentiae*[7]. Вот это искусство, этот дар выразить истину в такой сравнительно сжатой, простой форме – и без всяких повелительных ораторских приемов, без всякого заискивания и смазывания, повернуть все умы в другую сторону, поставить их внезапно на противоположные для них точки зрения, озарить их, хотя бы и на мгновение, светом истины и вызвать в них восторг, вернее сказать – восторженное отрицание того, чему еще четверть часа назад восторженно поклонялись, – вот что было удивительно, вот что важно, вот что явилось событием и привело меня в радость. Вот почему я считал нужным подчеркнуть, так сказать, значение этого факта и, взойдя на кафедру, сказал несколько слов, может быть даже слишком восторженных[8]. Но если б вы видели,

что такое было, и не со стороны одной молодежи, а со стороны столпов так называемого западничества, не исключая Тургенева и Анненкова!

Весьма простая вещь – воздать должное Татьяне за соблюдение верности мужу и спросить, по этому случаю, публику: можно ли на несчастье другого созидать свое счастье? Но грянувший от публики взрыв сочувственных рукоплесканий, что же он значил, как не опровержение всех теорий о свободных люб-вях и всех возгласов Белинского к женщине по поводу Татьяны и ее же подобия в Маше Троекуровой (в «Дубровском» Пушкина же), и всего этого культа *страсти*?! Когда девицы высших курсов тут же устремились к Достоевскому с выражением благодарности, что привело их в восторг? Они сами не могли бы отдать себе ясного отчета: это было неотразимое действие истины непосредственно на душу, это была своего рода радость эмансипации от безнравственности коверкающих их доктрин, возвращения к своему нравственно-му первообразу. Вероятно, всем им, бедным, досталось или достанется еще от профессо-

ров; в первую минуту никто не спохватился, а потом, уже к вечеру, Ковалевские[9], Глебы Успенские[10] и т. п. повесили носы, вероятно, выругали себя сами за то, что «увлеклись», и стали думать о том, как бы сгладить, стушевать или перетолковать в свою пользу все случившееся. Мне передавали сами студенты возникшие между ними потом разговоры: «А ведь знаете, господа, куда мы с нашим восторгом по поводу Достоевского влечим: в мистицизм!»[11] Но если бы даже двадцатка душ удержали в себе благотворное воздействие речи Достоевского, и то слава богу.

Не понимаю Градовского. Зачем нашел нужным он ослаблять действие речи Достоевского и вступаться за скитальцев?..[12] Можно бы, конечно, многое сказать о бродяжничестве на Руси; это самый народный тип, некогда меня пленивший[13], но всего менее может быть он истолкован отсутствием политической свободы и присутствием Держиморд[14]...

Автограф. ЛБ, ф.93.П.1.23.

И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру

Троекурово. 17 августа 1880 г.

...Конечно, нечего меня называть при упоминании впечатления, произведенного речью Достоевского на Тургенева и Анненкова[15]. Это неудобно. Скажу, впрочем, что оба они, особенно Тургенев, был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети) подкуплены упоминанием о Лизе Тургенева[16][17]. Ив. Сергеевич вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием. Такое сопоставление создания Пушкина, препрославленного в данную минуту, сопоставление публичное, торжественное, с его собственным творением, – не могло, разумеется, не быть приятно Тургеневу[18]. Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода *captatio benevolentiae*[19]. Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать (Достоевский приехал в Москву к первому сроку, назначенному для празднования, 26 мая) Достоевский в разговоре со мною о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в «Речи» и так же упомя-

нул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал <...>

Вообще же ошибочно считать речь Достоевского за трактат, за какое-то догматическое изложение и подвергать в этом смысле критике. Ее нужно отделить от самого факта произнесения и впечатления, ею произведенного. Мысли, в ней заключающиеся, – не новы ни для кого из славянофилов. Глубже и шире поставлен этот вопрос у Хомякова и у брата Константина Сергеевича. Но Достоевский поставил его на художественно-реальную почву, но он отважился в упор публике, совсем не под лад ему и его направлению настроенной, высказать несколько мыслей, резко противоположных всему тому, чему она только что рукоплескала, и сказать с такою силой суждения, которая, как молния, прорезала туман их голов и сердец, – и, может быть, как молния же, и исчезла, прожегши только души немногих[20]...

Вышла августовская книжка «Русской мысли». Очень рад, что там нет статей *против* Достоевского. А должны были быть. Ко-

Шелев приезжал сюда на один день и сказал мне, что он послал свою статью Юрьеву, который также пишет статью. Может быть, Кошелев устыдился после сильных моих слов и отменил помещение своей статейки[21]...

Автограф. ЛВ, ф.93.11.1.23.

И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру

<Москва> Ночь на 29 января <1881 г.>

Я уже знал о смерти Достоевского, когда получил вашу телеграмму, многоуважаемый Орест Федорович[22]. Известие получено было ночью Катковым и помещено в «Московских ведомостях»[23]. Горе, горе! Это незаменимая потеря! Теперь из художников-писателей и хоронить уже некого. Угасла сила *положительная*, незаменимая. Он один держал знамя высших нравственных начал. Дело художественного творчества было для него *делом души*. Не прошло и десяти дней, даже меньше, как я ему писал![24] Я написал о нем несколько слов в номере «Руси», который завтра печатается[25]. Это казнь божия, которой, впрочем, мы стоим. В обществе и литературе у нас царит только одна *богема*, как выражаются французы. Я вовсе сиротею. Становится жутко...

Автограф. ЛБ, ф.93.П.1.23.

Примечания

Сергей Павлович *Колошин* (псевд. *Не я*, 1825–1868) – московский публицист-славянофил, находившийся в это время в Италии (см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 235). Ему протезировали М. П. Погодин и Аксаков. Ряд писем Погодина и Аксакова к М. М. Достоевскому по поводу Колошина и письма самого Колошина к тому же адресату от весны 1864 г. сохранились в *ЛБ*.

[^^^]

В недатированном письме к М. П. Погодину, относящемся к весне 1864 г., Аксаков писал:

«О Колошине ответа нет. Я ведь вовсе не в приятельских отношениях с Мих. Достоевским, видел его всего раза два у Плещеева. А Федор Достоевский в дела журнала и в денежные соображения своего брата не вмешивается. Да и его здесь нет, он уехал. Колошин – издатель „Зрителя“, а это плохая рекомендация для серьезного журнала или претендующего на серьезность...» (Авт. ЛБ, ф. 231.П. 1.22). Упоминаемый Аксаковым еженедельный журнал «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» издавался Колошиным в Москве с 16 декабря 1861 г. по 1863 г. Это был консервативный орган, открыто поддерживавший репрессивную политику правительства по отношению к революционно-демократической прессе и польским повстанцам. Хотя по своей политической программе и симпатиям «Зритель» примыкал к аксаковскому «Дню», Аксаков, как мы видим, был весьма невысокого мнения об этом журнале.

В «Эпохе» было помещено несколько компилятивных статей Колошина («Рим, папа и Антонелли» – 1864, № 3; «Иезуиты и их уложение» – № 6) и др. Летом 1864 г. М. П. Погодин писал братьям Достоевским:

«Не угодно ли будет милостивому государю Михаилу Михайловичу или Федору Михайловичу повидаться со мною и получить от меня статью г. Колошина? Я остановился в Бассейной в доме Кокорева. Ныне *среда*, весь день дома. Завтра – утром и вечером. А в пятницу думаю выехать за границу.

Я был бы у вас сам, но с бумагами неудобно. Пришлите, и без церемоний, пожалуйста...»

Приписано М. М. Достоевским И. Г. Долгомостьеву:

«Сделайте одолжение, добрый мой Иван Григорьевич, съездите к М. П. Погодину и скажите ему, что мне очень жаль лишиться случая познакомиться с ним. Я болен и приеду в город разве дня через три» (ЛБ, ф. 93.2.7.101).

В приходо-расходной книге по изданию «Эпохи» рукой М. М. Достоевского под датой 15 мая 1864 г. отмечена посланная Колошину

через Аксакова сумма 65 руб. 62 коп. (ЛБ, ф. 93.1.3.21).

О намерении Достоевского написать Колошину – см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 201–202.

[^^^]

Александр Федорович *Благодравов* – провинциальный врач. Ему адресовано письмо Достоевского, датированное 19 декабря 1880 г. («Письма», IV, стр. 220–221).

[^^^]

Среди бумаг Достоевского сохранилось письмо Благодирова из Юрьева-Польского (10 декабря 1880 г.):

«... Из того, что ваш последний роман „Братья Карамазовы“, захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов, в нем поставленных, читается многими в нашей глухой провинции, хотя и под руководством лиц, более способных понимать ваше художественное создание, вы можете заключить, что живущая в провинции молодежь (я разумею чиновников и молодое купеческое поколение, воспитываемое на пустых романах) перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается, – идет вперед.

Едва ли кому-либо, кроме вас, суждено так ярко и так глубоко анализировать душу человека во время различных ее состояний, – изображение же галлюцинации, происшедшей с И. Ф. Карамазовым вследствие сильной душевной напряженности (я пока остановился на этой главе, читая ваш роман понемногу), создано так естественно, так поразитель-

но верно, что, перечитывая несколько раз это место вашего романа, приходишь в восхищение. Об этом обстоятельстве я могу судить по более других, потому что я медик. Описать форму душевной болезни, известную в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии: Гризингеры, Крафт-Эбинги, Лораны, Сенкеи и т. п., наблюдавшие множество субъектов, страдавших нарушенным психическим строем...» (Авт. ЛБ, ф.93.11.1.96).

[^^^]

Летом 1871 г. в России было организовано Фребелевское общество (Ф. Фребель – известный немецкий педагог, создатель «детских садов»). Начиная с 1878 г. Совет Общества проводил конкурсы на лучшие рассказы для детей младшего возраста. В «Отчете Совета С.-Петербургского Фребелевского общества 1871–1896» (СПб., 1897) отмечается: «Совет не может не вспомнить с благодарностью и Федора Михайловича Достоевского, сочувствовавшего целям Общества и являвшегося всегда на помощь, когда обращались к его содействию. Он принимал участие в детских праздниках и в комиссии о присуждении премий» (стр. 25).

В число членов комитета по присуждению премий входили также Гончаров, Плещеев и др.

В перечне лиц, получивших фребелевские премии за 1878–1895 гг. (стр. 53–59), имя Благоврова не названо.

Миллер находился в это время в Петербурге, где также торжественно отмечался пушкинский праздник.

[^^^]

заискиваниями (лат.).

[^^^]

В отчете о чествовании памяти Пушкина в Москве выступление Аксакова изложено следующим образом: «Я. С. Аксаков сказал, что едва ли кто-нибудь из присутствовавших испытывает такой восторг от речи Достоевского, как сам г. Аксаков. Последний собирался говорить именно на эту тему, так художественно, так гениально обработанную Достоевским. Отныне вопрос о том, народный ли Пушкин поэт, – решен окончательно, и толковать больше нечего...» («Венок на памятник Пушкину». СПб., 1880, стр. 62).

[^^^]

Максим Максимович *Ковалевский* (1851–1916) – историк и этнограф, профессор Московского университета. Достоевский относил его во время пушкинских торжеств к «враждебной партии» вместе с Тургеневым и «всем университетом» («Письма», IV, стр. 157).

[^^^]

Отчет Г. И. Успенского о пушкинских торжествах был напечатан в «Отеч. записках», 1880, № 6. См. о нем в «Лит. наследстве», т. 83, стр. 75.

[^^^]

См. примеч. 4 к п. 211.

[^^^]

Профессор Петербургского университета Александр Дмитриевич Градовский (1841–1889) напечатал 25 июня 1880 г., в № 174 «Голоса», статью «Мечта и действительность», полемически направленную против речи Достоевского. «Нам представляется прежде всего недоказанным, – писал он, – что „скитальцы“ отрешались от самого существования русского народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящего времени нисколько не определены пределы их отрицания, не указан его объект, так сказать. А пока не определено это, мы не вправе произнести о них окончательное суждение». Приведя цитату из речи Достоевского о необходимости искать правду внутри себя, «подчинить себя себе», Градовский заявлял: «В этих строках г. Достоевский выразил „святая святых“ своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора „Братьев Карамазовых“. В этих словах – великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет намека на идеалы обществен-

ные». Ср. «Письма», IV, стр. 182–183. Ответ Достоевского – в «Дневнике писателя», 1881. См. также «Лит. наследство», т. 83, стр. 705.

[^^^]

Аксаков являлся автором поэмы «Бродяга» (1852), пользовавшейся некоторым успехом в 1850-х годах.

[^^^]

Пересылая публикуемое письмо Достоевскому для передачи его жене, коллекционировавшей автографы, Миллер писал 1 сентября 1880 г.:

«Вот письмо Аксакова – в вечное и потомственное владение Анне Григорьевне. Передайте ей при этом мой глубокий, глубокий поклон. Я с своей стороны рассчитываю на то, что вы по возвращении на берега Невы позволите мне когда-нибудь прочесть письмо Аксакова к вам. Итак – вы постоянно священнодействуете – творите! Берегите только себя, дорогой Федор Михайлович, давайте себе отдыхать по временам, дышите свежим воздухом, который к тому же так упорно дышит летом и до сих пор...» (Авт. ЛБ, ф.93.П.6.85).

[^^^]

Миллер работал в это время над статьей для «Русской мысли» о пушкинских торжествах.

[^^^]

Это сопоставление было покрыто рукоплетскими.
– *Примеч. Аксакова.*

[^^^]

13 июня 1880 г. Тургенев писал М. М. Стасюлевичу: «И в речи Ив. Аксакова, в во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так <...> Эта очень умная, блестящая и хитроискусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия <...> Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Г-да славянофилы нас еще не проглотили» (И. С. Тургенев. Письма, т. XII, кн. 2-я. Л., 1967, стр. 272).

А. А. Киреев записал в дневнике 19 июля 1880 г.: «Тургенев – совершенный *gamolli*, делает гадости, позволяет всякой дряни (вроде редакции „Голоса“) злоупотреблять его именем в борьбе с Достоевским, про которого эта партия черт знает что рассказывает. Достоевский – христианин и консервативного направления, и при его громадном таланте и за-

рождающейся популярности среди молодежи он опасен для наших нигилистов в вицмундирах. *Inde irae!* (Оттуда и гнев! (*лат.*)) Тургенев идет на все из-за мелочного (но доходящего до колоссальности в этой своей мелочности) самолюбия. *Quelle degradingolade!..* (Что за падение!.. (*франц.*))» (Авт. ЛБ, ф.126.2.8).

[^^^]

Характеризуя в речи о Пушкине Татьяну Ларину как «апофеозу русской женщины», Достоевский прибавил: «Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в „Дворянском гнезде“ Тургенева» (X, 447). Л. Ф. Нелидова, присутствовавшая при выступлении Достоевского, упоминает «о всем памятном» «движении руки, поцелуе, посланном Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он в своей речи говорил о Лизе из „Дворянского гнезда“. Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника» («Вестник Европы», 1909, № 9, стр. 236).

[^^^]

заискивање (*лат.*).

[^^^]

Приводим выдержки из двух неизданных писем Аксакова к Достоевскому, относящихся к этому времени. В первом из них, 20 августа, Аксаков писал:

«Я с нетерпением ожидал получения в Москве вашего „Дневника“, дорогой Федор Михайлович, справлялся о нем у Живарева и был несказанно обрадован и благодарен вам за присылку. По прочтении же – экземпляров уж с десяток мною роздано и по указанию моему приобретено. Появление „Дневника“ с разъяснением речи было необходимо. Речь вашу трудно было отделить от факта произведения и произведенного ею впечатления, ибо в этом взаимодействии было непосредственно принято и *почувствовано* несравненно более того, что *высказано* было словами речи и что услышано *слухом* и *сознано*. Столько было электричества, что речь сверкнула молнией, которая мгновенно пронизала туман голов и сердец и так же быстро, как молния, исчезла, *прожегши души немногих*. На мгновение раскрылись умы и сердца для ура-

зумения, может, и неотчетливого, одного намека. Потому что речь ваша – не трактат обстоятельный и подробный, и многое выражено в ней лишь намеками. Как простыли, так многие даже и не могли себе объяснить толково, что же так подвигло их души? А некоторые – и, может быть большая часть, – спохватились инстинктивно через несколько часов и были в прекомичном негодовании на самих себя! „А черт возьми, – говорил в тот же день один студент, больше всех рукоплескавший, моему знакомому студенту:– Ведь он меня чуть в мистицизм не утащил! Так-таки совсем и увлек было!..“ Но это молодежь, а записные „либералы“ затеяли, как сами знаете, ретираду похитрее и поковарнее. Одним словом, разъяснение было нужно, и вы разъяснили превосходно <...> Конечно, самое важное в „Дневнике“, самое многосодержательное – это ваши четыре лекции Градовскому. „Упрекнуть вас можно лишь в том, что слишком уж крупна порция, не по внешнему, а по внутреннему объему. Тут у вас мимоходом, стороною, брошены истинные перлы, например, хоть место о встрече человекобога с бого-

человеком, и другие места, годящиеся в темы для целых сочинений. Жаль, что они выброшены так, в полемической статейке. Статьи эти хороши безусловно, и я с вами вполне и во всем согласен. От Градовского не осталось ни клочка <...> Вас можно упрекнуть только в том (но это уже, я думаю, – органическое свойство), что вы проявляете мало экономической распорядительности мыслей и потому слов; слишком большое обилие первых, причем основная обставляется и иногда заслоняется множеством побочных; крупная черта подчас теряется в богатстве мелких. Еще пред взором читателя не выяснились линии всего здания, а вы уже лепите детали. Этот недостаток свойствен художникам-мыслителям, у которых образ или мысль возникает со всеми частностями, во всей жизненности, с случайностями, разнообразными воплощениями, так что им очень мудрено охощивать, так сказать, свою мысль или образ. Я как-то упрекал Льва Толстого, что у него все на первом плане, все одинаково сильно живет, тогда как в живописи, например, и в натуре для глаза – ярко видно лишь то, что на первом плане, а

остальное, по мере отдаления, бледнеет, сереет. Что было бы, если б глаз одинаково отчетливо и живо видел и близкое и на краю горизонта! Он бы лопнул. Так и вы. Вы даете читателю слишком много зараз, и кое-что, по необходимости, остается недосказанным. Иногда у вас в скобках, между прочим, скачок в такой отдаленный горизонт, с перспективою такой новой дали, что у иного читателя голова смущается и кружится, – и только скачок. Я это говорю на основании делаемых мною наблюдений о впечатлении, производимом вашими статьями на большинство читателей. Для меня понятен каждый ваш намек, каждый штрих, – ну а для читателя вообще – слишком, повторяю, крупная порция.

Я слышал от Кошелева, приехавшего в Москву на один день, что в августовской книжке „Русской мысли“ должна была появиться статья Юрьева не то что против вас, но по поводу вас с некоторым возражением. Да и он сам (Кошелев) махнул было статейку на тему о смирении и гордости: слишком-де превозносите русский народ, и т. д....“ Через три недели, 3 сентября 1880 г., Аксаков писал

Достоевскому: „И не торопитесь мне отвечать, дорогой Федор Михайлович, и не отвлекайтесь от вашего дела. Я знаю и без ваших слов, как вы пишете и чего стоит вам писание романа, особенно такого, как „Братья Карамазовы“. Такое писание *изводит* человека; это не произведение виртуоза – тут ваша собственная кровь и плоть – в переносном смысле. Для меня достаточно уже то, что вы именно так отнеслись к моему письму; если в нем есть что верного, так оно с вас не соскользнет и вы уже распорядитесь им по-своему. Письмо ваше меня очень утешило. Посылаю для вашей супруги три автографа: Гоголя, моего отца и брата Константина Сергеевича...“» (Авт. ЛБ, ф.93.П.1.20).

[^^^]

См. примеч. 1 к п. 214.

[^^^]

Телеграмма Миллера к Аксакову неизвестна.

[^^^]

Привожу текст заметки, появившейся в «Московских ведомостях» 30 января, № 30: «Как гром, поразило нас вчера ночью известие о кончине Федора Михайловича Достоевского. Еще накануне, 27 января, получили мы от него собственноручное письмо, написанное твердым почерком и не возбуждавшее никаких опасений. Было, однако в этом письме зловещее слово, которое тогда скользнуло для нас незаметно. Прося нас об одном деле, он прибавил: „Это, быть может, моя *последняя* просьба“. Только теперь стал нам понятен скорбный смысл этого слова *последняя*. В нем сказалось предчувствие смерти еще прежде, чем совершилось роковое кровоизлияние, которое так быстро погасило дорогую жизнь нашего друга. Но предчувствие смерти не нарушило мира и ясности его души. Тон этих предсмертных строк его совершенно спокоен. Он входит в некоторые деловые подробности и шлет поклон друзьям...

Прости, добрый делатель на русской ниве! Мы еще много ждали от тебя, но довольно и

сделанного, чтоб имя твое сохранилось навеки в русской народной памяти. Земля возьмет свое, тленное предастся тлению, но духовное наследие твое останется навсегда дорогим достоянием твоего отечества...»

Упоминаемое в этом сообщении письмо Достоевского (с датой 26 января) было адресовано Н. А. Любимову.

[^^^]

Письмо Аксакова к Достоевскому, датированное 21 января 1881 г.: «Уже сколько завалось у меня начатых и недоконченных к вам писем, глубокоуважаемый Федор Михайлович! Благодарил я в свое время и за „Братьев Карамазовых“ и за письма ваши, которыми так дорожу, и вся эта написанная благодарность теперь уже запоздала! Примите же ее от меня теперь свежую. С нетерпением ожидаю вашего „Дневника“ <...> Ваше слово захватывает еще больший круг и, главное, проникает туда, куда едва ли достигает мое, – в среду молодежи, и проникает сквозь затворенные двери силою художественного очарования <...> С нетерпением жду вашего „Дневника“, берегите свое здоровье, а пока вас крепко обнимаю...» (Авт. ЛБ, ф.93.П.1.20).

[^^^]

Аксаков писал анонимно в «Руси» 31 января (№ 12): «Достоевский умер! Потеря незаменимая!.. В нашей современной литературе это была чуть ли не единственная *положительная* сила, не растлевающая, не разрушающая, а укрепляющая и зиждительная. Это был мощный талант и замечательный мыслитель. Никто из наших писателей не был равен ему по глубине и бесстрашию психического анализа, по важности и широте нравственных задач, к разрешению которых он так страстно стремился в своих сочинениях, которые были для него личным делом, *делом души*, всей жизни, всего его существования. Его романы, с точки зрения исключительно эстетической, может быть, именно и грешат тем, что слишком запечатлены характером субъективности, – но это-то и придает им власть и обаяние искренности. Все они писались плотью и кровью, – на каждой странице изводилась жизнь самого автора: болезненный процесс творчества, преждевременно унесший его в могилу! Преждевременно, потому что

Талант его не слабел, но, казалось, только теперь достиг настоящего блеска и зрелости. Еще многого вправе мы были ожидать от него... Старые силы, старые дарования сходят со сцены... Кто же является им на смену?.. Нет ответа!..»

[^^^]